

Россия и интеллигенция // Золотое руно. 1909. № 1

На первом собрании Религиозно-философского общества в этом году был прочитан доклад Германа Баронова «о демотеизме» (обожествление народа в «Исповеди» Максима Горького).

Г. Баронов утверждает: когда общественное возбуждение улеглось, река общественной жизни вступила в свои берега, – на берегах осталось много сору. Этот сор докладчик разделяет на «честный» и «нечестный». К «честному сору» он относил только тех, кто сам сознал себя «сором», кто томительно ищет живого Бога; к «нечестному» – всю ту часть интеллигентного общества, которая прямо или косвенно склоняется на сторону той или другой партии. Основываясь на некоторых цитатах из «Исповеди» Горького, Баронов отождествляет мировоззрение этого писателя с мировоззрением социал-демократии и, в частности, – Луначарского; докладчик упрекал Луначарского и Горького в том, что они обожают народ, отождествляют религиозный процесс с процессом хозяйственным, надевают «седло религии» на «корову науки».

Не опровергая положений г. Баронова по существу и признавая всю важность затронутого им вопроса, я хочу только высказать, по возможности кратко, свое воззрение на творчество Горького (с воззрением Баронова несогласное) и перейти затем к важнейшему для меня вопросу – о России и интеллигенции, об отношениях между интеллигенцией и народом. Образ этих отношений, каков он есть в настоящее время, представляется мне не только ненормальным, не только недолжным. В нем есть нечто жуткое; душа занимается страхом, когда внимательнее приглядишься к нему; страшным становится этот образ, как только интеллигент начинает чувствовать себя «животным общественным», как только сознает он, что существует некоторая круговая порука среди «людей культуры», что каждый член культурного общества – без различия партий, литературных направлений или классов – представляет из себя одно из слагаемых какого-то определенного целого. Вот это-то общественное чувство, перешедшее в сознание, и заставляет интеллигента почувствовать ответственность свою перед целым, хочет он или не хочет, – подойти к вопросам о болезнях всероссийских; и, мне думается, да и сама действительность показывает, что насущнейшим из таких вопросов является «интеллигенция и народ».

Г. Баронов разрешает этот вопрос одной фразой, и его разрешение не удовлетворяет меня. Впрочем, не в этом центр его доклада, да он и не мог бы, если бы и хотел, разрешить вопроса. Не решаю вопроса и я, – я только ставлю его; но поставить вопрос я хотел бы резко и беспощадно, это самый большой, самый лихорадочный для многих из нас вопрос. Я боюсь даже, вопрос ли это? Не свершается ли уже где-то, пока мы говорим здесь, какое-то страшное и безмолвное дело? Не обречен ли уже кто-либо из нас бесповоротно на гибель?

Но я – интеллигент, литератор, и оружие мое – слово. Боясь слов, я их произношу. Боясь «словесности», боясь «литературщины», я жду, однако, ответов словесных; ведь есть у нас, у всех, я думаю, тайная надежда, что не вечна пропасть между словами и делами, что есть какое-то слово, которое переходит в дело.

Прежде всего – несколько слов о Горьком.

Рассуждение г. Баронова о «демотеизме» представляется мне интересным, главным образом, как литературная статья, как критический разбор «Исповеди». Поскольку это литературная критика, с ней можно соглашаться и не соглашаться. Я, например, думаю, что упреки, обращенные г. Бароновым к Горькому, идут как-то мимо Горького, что, несмотря на хороший подбор цитат, г. Баронову не удалось доказать «обожествление народа» у Горького: ибо если в выводах своих Горький соприкасается хотя бы с Луначарским, то в своих исканиях пути, в размахе души своей, в своей буре и в своей тишине, в бессознательном – он бесконечно дальше и выше Луначарского. Горький, русский художник, и Луначарский, теоретик социал-демократии, – несоизмеримые величины.

Существуют факты неоспоримые, но сами по себе не имеющие никакого значения или имеющие значение самое малое. К подобным фактам относятся, мне кажется, следующие: Бекон Веруламский – государственный взяточник, Спиноза – стекольщик, Гаршин – переплетчик, Горький – социал-демократ. «Социал-демократизм» Горького говорит мне гораздо меньше, чем, например, землепашество Толстого или медицинская практика Чехова.

О «социал-демократизме» Горького можно еще было говорить, когда появилась самая бледная его повесть «Мать» или некоторые из его неудачных статей, написанных в острый революционный период. Теперь же, по-моему, ясно, что эта повесть и эти статьи были только одним из этапов его длинного и сложного пути от «Мальвы» и «Челкаша» к «Исповеди».

Горький никогда не был «догматичен» ни в научном теоретическом, ни в другом, практическом смысле этого слова. Напротив, догматов теоретических он всегда инстинктивно боялся, что одно уже делает его родным всей русской литературе, которая всегда – от славянофила до западника, от «общественника» до эстета – питала какую-то инстинктивную ненависть к сухому и строгому мышлению, то есть, как можно уже теперь сказать непарадоксально, к логике, к рационалистическим построениям, к силлогизму.

Отношение же Горького к догматам дурного, практического свойства, к догматам общественного быта и государственного слишком известно, и многие выражения его, вроде «строителей жизни», стали даже выражениями обиходными, вошли в поговорку.

Если свою «Исповедь» Горький и заканчивает как бы молитвой к какому-то народу, то пафос этой повести лежит гораздо глубже. Вослед за всю русскую литературу Горький не проповедует, но смятенно ищет.

Если бы Горький говорил о найденном Боге, совсем иначе звучал бы его голос. Он звучал бы торжественной хвалой. Но еще так недавно Горький задыхался от злобы, и если теперь присоединилось к этой злобе какое-то иное чувство, которым и нова его последняя повесть, то его никак нельзя назвать чувством человека, нашедшего что-то, чего не нашли другие. В этом чувстве нет пока ничего реального, конкретного. К нам Горький обращен неизменно лицом художника, и мы сомневаемся даже, есть ли у него еще иное лицо. Именно таково мнение и широкой публики, которая верила Горькому до тех пор, пока он не ударился в публицистику, потом стала забывать его и, наконец, теперь, когда он вернулся на свой истинный путь, на путь художника, еще не приняла его снова, но, может быть, готова опять слушать и принять.

Если в «Исповеди» и слышится еще отзвук публицистической проповеди, то, во-первых, он безмерно заглушен основной и все возрастающей нотой, во-вторых, он слабее, чем в предыдущих произведениях. Эта вульгарная публицистика, эта наивная проповедь, может быть, милая сердцу Горького, но ничего не говорящая нам, для нас невнятная, уходит от него, как уходит от героя «Исповеди» монахиня: «черная, как обрывок тучи в ветренный день». Вместе с нею уходит та его бездейственная злоба, те проклятия, никуда не попавшие, которые он произносил с пеной у рта. И очищается его широкое, глубокое и прозрачное, как русская река, сердце, которому мы верим гораздо больше, чем его разуму – случайным отрывкам темных облаков, пролетающих над рекой.

Вот почему, мне кажется, возражения г. Баронова не попадают в цель. В «Исповеди» Горького ценно в действительности то, о чем Баронов молчит, ценно то, что роднит Горького не с Луначарским, но с Гоголем, не с духом современной «интеллигенции», но с духом «народа». Эта ценность и есть любовь к России в целом, которую, может быть, и «обожествляет» разум Горького, попавший в тенета интеллигентных противоречий и высокопарных «боевых» фраз, свойственных Луначарскому; но сердце Горького тревожится и любит не обожествляя, требовательно и сурово, по-народному, как можно любить мать, сестру в едином лице родины – России. Это, именно конкретная, если можно так выразиться, «ограниченная» любовь – не к международному, но к национальному, не к пролетарскому стягу, но к родным лохмотьям, к тому, чего «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный». Любовь, которую знали Лермонтов, Тютчев, Хомяков, Некрасов, Успенский, Полонский, Чехов.

Я остановился на Горьком и на «Исповеди» его потому, что, мне кажется, положение Горького очень исключительно и очень знаменательно, как положение писателя, вышедшего из народа, каких теперь не много. Может быть, более, чем кто-либо из современных писателей, достойных внимания, Горький запутался в интеллигентстве, в торопливых, рационалистических и отвлеченных построениях; но, может быть, он принадлежит зато к тем немногим, которым не опасен яд этой торопливости и отвлеченности, у которых есть противоядие, «хорошая кровь – вещество, из коего образуется гордая душа», как говорит одно действующее лицо «Исповеди».

«Хорошая кровь – вещество, из коего образуется гордая душа», – внятно говорит отец Антоний и смеется. «Близость к Богу отводит далеко от людей», – догадывается про себя герой повести. «Неподвижны сомнения этого человека, ибо мертвы они... да и зачем полумертвому Бог?...» «Бог есть сон твоей души, повторяю я, но спорить с этим нужды не чувствую, – легкая мысль», –

соображает, опять-таки про себя, тот же герой «Исповеди». Горький и всегда больше всего любил таких сдержанно смеющихся людей «себе на уме», умеющих впору помолчать и впору ввернуть разрушительное словечко, притом непременно обладающих большой физической силой, которая все время чувствуется здесь, рядом, настороже. Когда говоришь с таким человеком, никогда не чувствуешь уверенности, что он не предпочтет словесному возражению – двинуть попросту кулаком в зубы или обругать последними словами. В период упадка, который пережил Горький, его герои стали только неожиданно сантиментальны, но теперь опять вернулись к прежнему, к умолчанию и усмешке «себе на уме».

Что же, «свои» это люди или не свои?

С екатерининских времен проснулась в русском интеллигенте «любовь к народному» и с той поры не оскудевала. Собирали и собирают тщательно материалы для изучения «фольклора», загромождают книжные шкафы сборниками русских песен, былин, легенд, заговоров, причитаний, исследованиями о русской мифологии, обрядности, свадьбах, похоронах. Печалются о народе, ходят в народ, исполняются надеждами и отчаиваются, наконец, погибают, идут на казнь и на голодную смерть за народное дело. Может быть, наконец, поняли даже душу народную, но как поняли? Не страшны ли эти все понявшие люди? Не значит ли понять все и полюбить все, – даже враждебное, даже то, что требует отречения от самого дорогого для себя, – не значит ли это ничего не понять и ничего не полюбить?

Это – со стороны «интеллигенции». Нельзя сказать, чтобы она сидела, сложа руки. Волю, сердце и ум положила она на изучение народа.

А с другой стороны – та же все легкая усмешка, то же молчание «себе на уме», та благодарность за «учение» и извинение за свою «темноту», в которых чувствуется «до поры до времени» страшная лень и страшный сон, как нам кажется; или же медленное и совершенно непонятное пробуждение великана, как нам все чаще начинает казаться. Пробуждение с какой-то усмешкой на устах. Интеллигенты не так смеются, несмотря на то что, кажется, они знают все виды смеха – мрачного и беззаботного, рыдающего и веселого. Но перед усмешкой мужика, ничем не похожей на ту иронию, которой научил нас Гейне и еврейство, на гоголевский смех сквозь слезы, на соловьевский хохот, – умрет мгновенно всякий наш смех и станет нам страшно и не по себе.

Действительно ли это все так, как я говорю, не придумано ли, не создано ли праздным воображением страшное разделение? Иногда сомневаешься в этом, но, кажется, это действительно так, то есть, действительно, не только два понятия, но две реальности, народ и интеллигенция, полтора миллиона с одной стороны и несколько сот тысяч с другой – людей, взаимно друг друга не понимающих в чем-то самом основном.

Среди сотен тысяч происходит непрестанное и торопливое брожение, непрестанная смена направлений, настроений, боевых знамен. Над городами стоит гул, в котором не может разобраться самый опытный слух; такой гул, какой стоял над татарским станом в ночь перед Куликовской битвой, как говорит легенда. Скрипят какие-то бесчисленные телеги за Непрядвой, стоит людской вопль, а на реке в тумане тревожно плещутся и кричат гуси и лебеди.

Среди десятков миллионов царствуют как будто сон и тишина. Но и над станом Дмитрия Донского стояла тишина, однако заплакал воевода Боброк, прислушавшись к земле. Потому что слышно было, как неутешно плакала где-то вдовица, как мать билась о стремя сына. И еще полыхала над русским станом далекая и зловещая зарница.

Есть между двумя станами – между народом и интеллигенцией – какая-то черта, на которой сходятся и сговариваются как бы те и другие. Такой соединительной черты не было между русскими и татарами, между двумя станами, явно враждебными; но как узка эта нынешняя черта, как странно и всегда необычно схождение на ней! Каких только «племен, наречий, состояний» здесь нет! Здесь сходятся и рабочий, и сектант, и босяк, и крестьянин с писателем, и с общественным деятелем, и с чиновником, и с революционером. Но черта узка: по-прежнему два стана не видят и не хотят знать друг друга, по-прежнему к тем, кто желает мира и сговора, большинство из народа и большинство из интеллигенции относятся как к изменникам и перебежчикам. Не так же ли узка эта черта, как туманная речка Непрядва? Ночью перед битвой вилась она, невинная и прозрачная, между двумя станами, а на другую ночь, после битвы, и еще семь ночей подряд, согласно легенде, текла она русской и татарской кровью.

На узкой черте кажущихся соглашения между народом и интеллигенцией вырастают подчас огромные люди и большие дела. Эти люди и эти дела как бы свидетельствуют всегда, что вражда исконна, что вопрос о сближении не есть вопрос отвлеченный, но есть вопрос практический, что разрешать его надо каким-то особым, нам неизвестным путем. Эти люди, являющиеся из народа и являющие глубины народного духа, становятся немедленно враждебны нам, враждебны, потому что в чем-то самом сокровенном непонятны.

Ломоносов, как известно, был в свое время ненавидим и гоним ученой коллегией; народные сказители всегда представляются нам какой-то забавной диковинкой; начала славянофильства, имеющие глубокую опору в народе, всегда были роковым образом помехой «интеллигентским» началам, и прав был Самарин, когда писал Аксакову о «недоступной черте», существующей между «славянофилами» и «западниками». На наших глазах интеллигенция относилась с явной и тайной ненавистью к Менделееву. Может быть, по-своему она была права, потому что между ним и ею была та самая «недоступная черта» (гениальное пушкинское слово, которое оказалось определением трагедии России). Может быть, эта трагедия за последнее время выразилась всего резче в непримиримости двух начал – менделеевского и толстовского, и эта противоположность даже гораздо острее и тревожней, чем противоположность между Толстым и Достоевским, указанная Мережковским?

Последним тревожным явлением на черте, связующей народ с интеллигенцией, было явление Максима Горького. Еще раз подтверждает он, что страшно и неизвестно нам то, что он любит и как он любит. А любит он ту же Россию, которую любим и мы, но иной и непонятной любовью. Его герои, в которых живет эта любовь, чужие нам, это молчаливые люди «себе на уме», с усмешкой, сулящей неизвестное. Горький по духу – не интеллигент; мы любим одно, но разной любовью, и, может быть, от разлагающих ядов нашей любви у него есть противоядие – «здоровая кровь».

Реферат Баронова, «литературный» по преимуществу, говорит о том, что не надо обоготворять народ; я думаю, мало людей, которые теперь обоготворяют его, – ведь мы не дикари, чтобы творить божество из неизвестного и страшного. Но если мы уже давно не поклоняемся народу, то мы не можем и отступить или махнуть рукой, потому что искони тянутся туда наша любовь и наши помыслы.

«Не обоготворять народ надо, а просто работать над ним, вытаскивать его (прежде всего, конечно, вытащивши самого себя) из всероссийского трупного болота», – говорит г. Баронова.

Это и есть единственная нелитературная только часть всего доклада. Но путей и способов действия здесь никаких не указано. Да путей этих, которых только и ищет русская литература, и не может указать один человек.

«Нужно любить Россию», «нужно проездиться по России», писал перед смертью Гоголь. «Как полюбить братьев? Как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны, и так в них мало прекрасного. Как же сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь – есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви...»

«Монастырь наш – Россия. Облеките же себя умственно рясой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней. Она теперь зовет сынов своих еще крепче, нежели когда-либо прежде. Уже душа в ней болит, и раздастся крик ее душевной болезни. Друг мой, или у вас бесчувственное сердце, или вы не знаете, что такое для русского Россия» (XIX–XX письмо из «Переписки с друзьями»).

Понятны ли эти слова интеллигенту? Не покажутся ли они ему и теперь предсмертным бредом, не вызовут ли все того же истерического бранного крика, которым кричал на Гоголя Белинский, самый характерный русский интеллигент?

В самом деле, разве нам понятны слова о сострадании, как начале любви, о том, что к любви ведет Бог, о том, что Россия – монастырь, для которого нужно «умертвить всего себя для себя»? Непонятны, потому что мы уже не знаем той любви, которая рождается из сострадания, потому что вопрос о Боге, кажется, «самый нелюбопытный вопрос в наши дни», как недавно писал Мережковский, и потому что для того, чтобы «умертвить себя», отречься от самого дорогого и

личного, нужно знать, во имя чего это сделать. То, и другое, и третье непонятно для «человека девятнадцатого века», о котором писал Гоголь, а тем более для человека двадцатого века, перед которым вырастает только «один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста...» «Черствее и черствее становится жизнь... Все глухо, могила повсюду» (XXXII письмо).

Что если действительно непереступима черта, отделяющая интеллигенцию от народа, от России? Пока существует такое сомнение, интеллигенция осуждена бродить, двигаться и вырождаться в заколдованном круге, потому что незачем отречься от себя, пока не веришь твердо, что есть в таком отречении прямое жизненное требование. Не только отречься нельзя, но еще можно утверждать свои слабости – вплоть до слабости самоубийства. Что возражу я человеку, которого привели к самоубийству требования индивидуализма, демонизма, эстетики или, наконец, просто самое неотвлеченное, самое обыденное требование отчаянья и тоски, если сам я люблю эстетику, индивидуализм и отчаянье, говоря короче, если я сам интеллигент? Если во мне самом нет ничего, что любил бы я больше, чем свою влюбленность индивидуалиста и свою тоску, которая, как тень, всегда и неотступно следует за такой влюбленностью?

Интеллигентных людей, спасающихся положительными началами науки, общественной деятельности, искусства, все меньше, мы видим это и слышим об этом каждый день. И это естественно, с этим ничего не поделаешь. Требуется какое-то иное, высшее, новое начало. Раз его нет, оно заменяется всяческим бунтом и буйством, начиная от вульгарного «богоборчества» декадентов и кончая неприметным и откровенным самоуничтожением – развратом, пьянством, самоубийством всех видов – от грубейшего до тончайших, от бросающегося в Неву студента с запиской в кармане до застреливающейся в благоуханном будуаре Гедды Габлер.

В народе нет ничего подобного. Человек, обрекающий себя на одно из перечисленных дел, тем самым выходит из стихии народной, становится интеллигентом по духу. Самой душе народной всякое подобное дело до брезгливости противно. Если интеллигенция все более пропитывается «волею к смерти», то народ искони носит в себе «волю к жизни». Понятно в таком случае, почему и неверующий бросается к народу, ищет в нем жизненных сил; просто по инстинкту самосохранения; бросается и наталкивается на усмешку и молчание, на презрение и снисходительную жалость, на «недоступную черту». А может быть, еще более того, еще страшнее и неожиданнее?

Гоголь и многие русские писатели любили мыслить о России и представлять ее как воплощение тишины и сна; но что если кончается этот сон, если тишина сменяется отдаленным и возрастающим гулом, так непохожим на смешанный и дисгармонический гул городов?

Тот же Гоголь представлял себе Россию летящей тройкой. «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ». Но ответа нет, только «чудным звоном заливаются колокольчик». Что если тот гул, который возрастает так быстро, что с каждым годом мы слышим его яснее и яснее, и есть «чудный звон» колокольчика тройки? Что если тройка, вокруг которой «гремит и становится ветром разорванный в куски воздух», летит прямо на нас? И, бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель? Отчего нас посещают все чаще только два чувства: самозабвение восторга и самозабвение тоски, отчаяния, безразличия? Скоро иным чувствам не будет места. Не оттого ли, что вокруг господствует уже полная тьма и каждый в этой тьме уже не чувствует другого, но чувствует только себя одного? Можно уже представить себе, как бывает в страшных снах и кошмарах, что тьма происходит оттого, что над нами повисла косматая грудь коренника и готовы опуститься тяжелые копыта.

Все эти рассуждения и соображения мои клонятся лишь к тому, чтобы поставить три вопроса:

1) Действительно ли есть непреходимая «недоступная черта» между интеллигенцией и народом, интеллигенцией и Россией?

2) Если да, то остается ли надежда на что-либо, кроме «знаменитой силы инерции», недаром прославленной Победоносцевым в 1881 году? Но ведь и инерция имеет свой предел, так что без вечного страха за свою культуру, за жизненный уклад, за семью, за искусство, за науку – все равно не прожить. А какая же работа плодотворна под игом такого страха? Страх можно победить только самозабвением и гибелью.

3) Если же переходима эта глубокая черта, эта очарованная и проклятая пропасть, то каковы же пути к народному сердцу любимой и до сих пор не узнанной лицом к лицу родины – России?

Май – июнь, 1907 г.
С.–Петербург